



Семен
РЕЗНИК

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

*Академик
Ухтомский
и его биограф*

Семен Резник

**Против течения. Академик
Ухтомский и его биограф**

«Алетейя»

2015

УДК 929+94(47).084

ББК 63.3(2)6

Резник С. Е.

Против течения. Академик Ухтомский и его биограф /
С. Е. Резник — «Алетейя», 2015

Документальная сага охватывает более ста лет духовной жизни России под железной пятой царского, а затем советского режимов. В центре повествования – судьба великого физиолога, философа и религиозного мыслителя академика А. А. Ухтомского (1875–1942), а также его ученика и первого биографа В. Л. Меркулова (1908–1980) – историка науки, многолетнего узника ГУЛАГа. Читатели познакомятся с кругом ученых, писателей, религиозных и политических деятелей, чьи судьбы прямо или косвенно переплетаются с главными персонажами. В их числе брат А. А. Ухтомского епископ Андрей, расстрелянный в 1937 году; учитель А. А. Ухтомского Н. Е. Введенский; его ученики и ученицы (Н. В. Голиков, А. И. Бронштейн-Шур, И. И. Каплан). Даны литературные портреты академика И. П. Павлова, его ученицы и возлюбленной М. К. Петровой, ведущих «павловцев» (Л. А. Орбели, К. М. Быкова, А. Д. Сперанского, П. К. Анохина). Представлены солагерники В. Л. Меркулова: поэт Осип Мандельштам, литературовед В. Ф. Переверзев, академик Е. М. Крепс. В числе действующих лиц Максим Горький и его сын Максим Пешков, «меньшевистствующий идеалист» М. А. Деборин и сын Чан Кайши Цзян Цзинго, учитель И. П. Павлова И. Ф. Цион и швейцарский ученый XVIII века Альбрехт Галлер. Читателям предстоит побывать на заседаниях Поместного Собора РПЦ в судьбоносном 1917 году и на Павловской сессии двух академий 1950 года, пережить – вместе с Ухтомским – два ареста и блокаду Ленинграда (которую он сам не пережил); узнать – вместе с Меркуловым – почему фунт лиха в сталинских лагерях и как живется-может быть бывшему зэку, «пораженному в правах»; каково прорываться сквозь колючую проволоку цензуры и сквозь лицемерие титулованных чиновников от науки и литературы. В книге широко используются неизвестные и малоизвестные материалы, в том числе переписка автора с В. Л. Меркуловым, считавшаяся утерянной.

УДК 929+94(47).084

ББК 63.3(2)6

© Резник С. Е., 2015

© Алетейя, 2015

Содержание

От автора	7
Часть первая	8
Глава первая. Вхождение в тему	8
Глава вторая. В. Л. Меркулов – начало жизни	13
Глава третья. В Ленинградском университете	17
Глава четвертая. В. Л. Меркулов: первое знакомство	22
Глава пятая. Любви все возрасты покорны	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Семен Резник

Против течения. Академик Ухтомский и его биограф

© С. Е. Резник, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

* * *

«Человек всегда недоволен своим положением и всегда очень доволен своим умом и пониманием», – писал Л. Толстой. Я всю жизнь стремился быть довольным своим положением и всегда был недоволен умом, теоретическими построениями, – тем, что называется у людей пониманием.

А. А. Ухтомский

Письмо Е. И. Бронштейн-Шур от 24 мая 1927 г.

Я ведь стал уже «заметным историком науки», хотя и живу против течения.

В. Л. Меркулов

Письмо автору от 12 сентября 1973 г.

Бедный мой Вася! Если бы Вы знали, какая трудная судьба выпала на его долю! Это был замечательный добрый и честный человек.

А. В. Меркулова-Яицких

Письма автору от 11 июня 1981 г.

От автора

Эта книга родилась из моей неожиданно найденной переписки с Василием Лаврентьевичем Меркуловым, которую я считал утерянной. В. Л. Меркулов – доктор наук, физиолог и историк науки, автор первой биографии академика А. А. Ухтомского и многих других трудов по истории физиологии. Мы активно переписывались в течение восьми лет, с 1972-го, когда познакомились, и до последних дней его жизни, оборвавшейся в 1980-м. Первоначальным моим побуждением было написать небольшое эссе о моем старшем друге, давно и незаслуженно забытом. Но замысел стал расти, шириться, мне пришлось заново окунуться в научное и философское наследие Ухтомского, в судьбы персонажей других работ Меркулова, в общественно-политическую и духовную жизнь дореволюционной и послереволюционной России, особенно в ее научную среду.

Сюжетной канвой книги стала судьба двух неординарных, хотя и разнокалиберных личностей – академика А. А. Ухтомского и его биографа В. Л. Меркулова. В канву повествования влились лица, прямо или косвенно связанные с главными персонажами: ученые, политики, писатели, религиозные деятели, издатели... В их числе брат Ухтомского епископ Андрей, его учитель профессор Н. Е. Введенский, профессор Н. В. Голиков и другие его ученики и ученицы, академики И. П. Павлов, Л. А. Орбели, А. Д. Сперанский, П. К. Анохин, Е. М. Крепс, А. М. Горький, Н. И. Бухарин, поэт Осип Мандельштам, учитель Павлова И. Ф. Цион, философ М. А. Деборин, литературовед В. Ф. Переверзев, сын Чан Кайши Цзян Цзинго (он же Н. В. Елизаров), писательница И. Грекова, писательница М. Шагинян, президент АН СССР С. И. Вавилов, вереница других. Рассказано о судьбоносных для науки и духовной жизни России событиях, памятных и почти забытых, таких как Поместный Собор Русской православной церкви 1917 года, блокада Ленинграда, Павловская сессия АН и АМН СССР 1950 года, ее последствия для судеб науки и некоторых ученых.

В книге нет вымышленных персонажей или вымышленных сцен. Все персонажи названы подлинными именами, все их поступки, мысли, чувства, взаимоотношения строго задокументированы.

Если я не сильно оболыщаюсь, то книга должна быть интересна широкому кругу интеллигентных читателей – всем, кто хочет знать правду о духовной жизни советской и досоветской России.

** * **

Некоторые страницы этой книги не могли бы быть написаны, если бы не помощь со стороны В. Я. Бириштейна (Нью-Йорк) и Т. М. Бириштейн (Санкт-Петербург). Выражаю им сердечную благодарность. Я также благодарен издателю и редактору сетевого издания «Семь искусств» Евгению Берковичу, издателю и редактору журнала «Мосты» (Франкфурт-на-Майне) Владимиру Батиеву, издателям и редакторам журнала «Время и место» (Нью-Йорк) Игорю Шихману и Давиду Гаю, щедро открывшим страницы своих изданий для публикации глав первоначального варианта рукописи. Поддержка и критические замечания читателей служили важным стимулом, в работе и помогли выправить некоторые неточности. Особенно ценны и дороги для меня отзывы друзей и коллег: В. И. Порудоминского, И. А. Дегена, М. Бороды, М. Авербуха, Ю. Солодкина, В. Цесиса. И совершенно особая признательность моей жене Римме Резник, обнаружившей переписку с В. Л. Меркуловым, в нашем семейном, архиве и деятельно помогавшей мне на протяжении всех трех с лишним лет работы над рукописью.

Часть первая

Глава первая. Вхождение в тему

1.

В конце 1971 или в начале 1972 года ко мне в редакцию серии ЖЗЛ пришла пожилая женщина – седовласая, не по годам стройная, в строгом сером костюме, с короткой молодежной стрижкой. Представилась: Елена Исааковна Бронштейн-Шур, кандидат биологических наук, физиолог, ученица академика Алексея Алексеевича Ухтомского. Она сказала, что переписывалась с учителем и письма его сохранила. Выдержки из них, со своим предисловием, она хочет предложить для альманаха «Прометей», издававшегося серией ЖЗЛ. Она, видимо, впервые была в редакции литературного издания и чувствовала себя скованно. Она положила передо мной тоненькую папочку и тотчас ушла.

Заваленный работой, я не сразу взялся за чтение. Ничего особенного я от этой рукописи не ждал. Об Ухтомском я знал именно как о крупном физиологе. Что могла представлять его переписка с ученицей? Обсуждение экспериментов, ее дипломной работы, диссертации? Интересно ли это широкому читателю, на которого рассчитано наше издание?

Но, приступив к чтению, я не мог оторваться. Письма охватывали период с апреля 1927 по июнь 1941 года, но в них не чувствовалось дыхания того бурного времени, словно это были послания с другой планеты. Автор писем жил напряженной внутренней жизнью, не имевшей ничего общего с боевым духом кипучих будней и еще более кипучих революционных праздников. В его лексиконе не было ни *пятилеток*, ни *ударников*, ни *соцсоревнования*, ни *антагонистических противоречий*, ни *перековки*. Хотя писал он в основном именно о перековке, перестройке человеческого сознания и поведения.

Я попал на пиршество свободной, независимой, постоянно ищущей мысли.

Поражала бездонная эрудиция автора писем, превосходный литературный язык, глубокое знание истории, философии, художественной литературы, поэзии, музыки, причем в обсуждаемых произведениях Ухтомский вскрывал неосвоенные глубины смыслового, эстетического и этического содержания. Все это перемежалось воспоминаниями из личной жизни, раздумьями о миссии человека на земле, о жизни и смерти, и было окрашено необычайным теплом, добротой, участием по отношению к ученице, к другим ученикам, вообще к *человеку*.

Вырисовывался образ необыкновенной личности, с могучим умом и щедрым сердцем. Личности, готовой понять, помочь и согреть своим участием каждого встречного, ибо «каждый из нас – только всплеск волны в великом океане, несущем воды из великого прошлого в великое будущее». Какого бы вопроса ни затрагивал академик, хотя бы невзначай, мимоходом, его высказывания поражали оригинальностью, незаёмностью, органичным слиянием мысли и чувства.

Например:

«Сказать ли Вам одну мою затаенную мысль, даже не мысль, а мелодию, которая скрывается в моей душе и так или иначе всегда влияет на нее? Мне затаенно больно и страшно за людей, когда они радостны, потому что меня охватывает тогда жалость к ним, – потому что я знаю, что вот этому милому и радостному сейчас существу скрыты те горести и печали,

которые уже таятся в этом самом хронотопе¹, который его окружает, уже растет то дерево, из которого будет изготовлен его гроб, уже готова та земля, в которой будут лежать его кости. Вот оттого так думается в жаркое лето об осенней стуже, чтобы зимой и осенью вспоминать о солнечном лете!»

Или:

«Знаете, – я с громадным страхом подхожу к музыке, особенно такой, как Бетховен. Ведь тут все самое дорогое для человека и человечества. И безнаказанно приближаться к этому нельзя, – это или спасает, – если внутренний человек горит, – или убивает, если человек слушает только из «своего удовольствия», т. е. не сдвигаясь больше со своего спокойного самоутверждения <...> Бетховен творил не для человеческого «удовольствия», а потому, что страдал за человечество и будил человека бесконечными звуками, когда сам оглох».

Или еще:

«Совершенно очевидно, что если человек не будет открыт к каждому встречному человеческому лицу с готовностью увидеть и оценить его личное прекрасное, с чем он пришел в мир, чтобы побыть в мире и внести в мир нечто, исключительно ему присущее, – такой человек не сможет узнать и Сократа, и Спинозу, когда они реально к нему приблизятся. Такой человек – реалист, приписывающий реальность и значимость только своим мыслям, будет наказан тем, что пропустит мимо себя, как эфемерность, и Сократа, и Спинозу, и самое прекрасное, что может вместить мир!»

Или еще:

«“Странным” для окружающей жизни я был всегда, всегда. Оттого-то и не мог в нее влиться. Всех любил, но ото всех был отдельно: любил людей, но не любил их склада жизни, – ревниво и упорно не хотел жить так, как у них “принято”».

Сказать, что я с интересом прочел эту рукопись, значит – ничего не сказать! Я был ошеломлен. И покорен своеобразием этой личности, глубиной суждений о жизни, о науке, о человеческом сознании и подсознании, о назначении человека. Я «заболел» Ухтомским и, должен признаться, что продолжаю им «болеть» до сих пор.

Я тотчас отнес рукопись тогдашнему шефу редакции ЖЗЛ Сергею Николаевичу Семанову: опубликовать или не опубликовать ее в «Прометее» зависело от него. Я надеялся, что зарубить такой уникальный материал у него не поднимется рука. Увы, поднялась. Он гнул в редакции так называемую национал-патриотическую линию; гуманистическая, сострадательная философия Ухтомского была ему не просто чужда – противопоказана. Как, конечно, и фамилия адресата писем.

Кое-какие возможности у меня были и за пределами собственной редакции. Я позвонил в отдел публицистики «Нового мира» Игорю Дуэлю – мы с ним были дружны – и сказал, что имею для него великолепный подарок.

Это был уже *не тот* «Новый мир», что при А. Т. Твардовском, но еще не тот, каким он стал через несколько лет при С. С. Наровчатове. Главным редактором журнала был В. А. Косолапов, номенклатурный литературный чиновник с «лица не общим выраженьем». В начале 1960-х, будучи главным редактором «Литгазеты», он дал добро на евтушенковский «Бабий яр», отчетливо сознавая, что ему это даром не сойдет. Из газеты его уволили, но обошлись на удивление милостиво: сослали в тихую гавань – директором Гослитиздата, издававшего классику, где он и отсиживался много лет. Почему именно его *бросили* на разгромленный «Новый мир», – эта тайна мадридского двора мне неизвестна. Можно лишь не сомневаться, что такое решение было принято неспроста. Отдать вчерашнюю цитадель умеренного, но непокорного

¹ Хронотоп – одно из важнейших научных понятий, введенных Ухтомским в физиологию. Оно означает среду, с которой взаимодействует живое существо, причем имеется в виду не только пространственная, но и временная составляющая этой среды. Оно созвучно понятию четырехмерного пространства-времени в физике.

либерализма прямо в руки национал-сталинистов типа В. Кочетова или А. Софронова кремлевские мудрецы, по-видимому, посчитали неполитичным. Пилюлю решили подсластить, вот и вспомнили о Косолапове. Но его обложили политкомиссарами вроде первого зама Д. Большова, прославившегося тем, что самолично зарубил постановку в Театре на Таганке «Теркина на том свете». Прорваться через такой заслон свежему, независимому и просто талантливому слову было очень трудно. Но усилиями таких сотрудников, как Игорь Дуэль, кое-что прорывалось. Письма Ухтомского ему удалось пробить². Я также рекомендовал их Даниилу Данину, который входил в редколлегию литературных сборников «Пути в незнаемое». Там они тоже были опубликованы³.

На этом мои контакты с Еленой Исааковной Бронштейн-Шур прекратились. Она так же незаметно исчезла с моего горизонта, как появилась. Попытки навести о ней справки в интернете дали отрицательный результат: имя ее упоминается только в связи с публикацией тех самых отрывков из писем ее учителя. Других ее публикаций или биографических данных о ней мне обнаружить не удалось.

За постсоветские годы в России вышел ряд сборников, составленных из дневниковых записей и писем А. А. Ухтомского, воспоминаний о нем. Первый сборник появился в 1992 году⁴. Его составил Ф. П. Некрылов – ученик А. А. Ухтомского. Фамилия составителя в траурной рамке: до выхода книги он не дожил. В этом издании перепечатана вступительная статья Е. И. Бронштейн-Шур к письмам ее учителя в несколько расширенной редакции: признак того, что при подготовке сборника она была жива. Но сборник готовился еще к столетнему юбилею Ухтомского, то есть к 1975 году, тогда не вышел, потом в него еще что-то добавляли, так что время появления новой редакции статьи установить трудно. Подлинники писем Ухтомского к ней не разысканы: во всех дальнейших изданиях они воспроизводятся в тех же извлечениях, с какими она когда-то пришла ко мне.

Между тем, было бы интересно заглянуть в опущенные ею фрагменты. Часть из них она удалила, скорее всего, из-за их цензурной непроходимости, часть – по личным мотивам. Они могли бы раскрыть такие грани ее взаимоотношений с учителем, которые едва угадываются. Но они приоткрываются в наброске письма без даты, возможно, не отправленного, которое обнаружено в архиве Ухтомского нынешними исследователями:

«Я хотел бы быть дождем для того удивительного и прекрасного растеньица, которое я встретил в Вас и так люблю в его чистоте, естественности и красоте. Хотел бы дать ему все то, что нужно его природе, чтобы оно росло и цвело далее и далее на радость людям. И мне не надо, чтобы Вы меня замечали, чтобы я играл какую-нибудь сознательную роль в Вашем сознании. Какое-то чувство говорит мне, что я все испортил бы своею персоною, если бы вошел в Вашу жизнь как-нибудь неосторожно. Вот растение не сознает ведь, что дождь ему что-то дает. Мне и хочется быть таким дождем для Вас, т. е. давать Вам лучшее, что у меня есть, а Вы бы не знали и не замечали это». И дальше: «Кажется, я был в Вас влюблен. Иначе не назвать то нетерпеливое и мучительное чувство, которое было во мне в 1926–27 году. На это надо смотреть как на последнюю вспышку так называемой личной жизни перед старостью. Но дело не в ней. Дело в том, что я Вас очень глубоко любил, люблю и буду любить чисто человеческим приветом, лучшей стороной моего существа»⁵.

Такое трогательное объяснение в любви! Оно наверняка было известно первому биографу А. А. Ухтомского В. Л. Меркулову, который пропахал архив учителя вдоль и поперек.

² «Новый мир», № 1, 1973.

³ «Пути в незнаемое», Выпуск 10, М., «Советский писатель», 1973, стр. 371–435.

⁴ А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах. Составитель Ф. П. Некрылов. Спб., Изд-во С.-Петербургского университета, 1992.

⁵ А. Ухтомский. Доминанта души. Из гуманитарного наследия, «Рыбинское подворье», 2000, стр. 535.

В моей переписке с Василием Лаврентьевичем (о ней ниже) я обнаружил новогоднюю поздравительную открытку, полученную им от Е. И. Бронштейн-Шур и пересланную мне. Открытка проливает неожиданный свет на ее отношения с учителем. Вернее, свет проливает комментарий к ней В. Л. Меркулова. Открытка датирована 25 декабря 1977 году. Вот ее текст:

«Дорогой Василий Лаврентьевич, спасибо за новогодний привет. Я присоединяюсь к Вашему пожеланию, чтобы Новый год был щедрым на хорошие события. Вам и Альбине Викторовне⁶ желаю здоровья бодрости и душевной ясности. У меня в жизни этим летом произошло важное и радостное событие – мы с мужем отметили нашу «золотую свадьбу», что редко бывает в наши дни. Еще раз искренне желаю всего хорошего. Е. И.»

Обычное новогоднее поздравление, какие мы все отправляли и получали десятками. Чего не учла Елена Исааковна, так это то, что писала историку, чуткому к датировкам, к тому же – биографу их общего учителя.

«Nota Bene, – приписал прямо на открытке Василий Лаврентьевич, адресуясь уже ко мне. – Брак летом 1927 г. и энергичный флирт с наивным учителем!!!» А в сопроводительном письме более развернуто: «Позавчера я получил открытку от Е. И. Бронштейн-Шур – посылаю ее как подтверждение, что она играла чувствами А. А. [Ухтомского], будучи в брачном союзе с Шуром летом 1927 года! Ему [Ухтомскому] было 52 года, он писал ей нежные письма: «Моя Академия etc.» – а она не разглашала о своем браке! Экая хитрая девица!! Не знала, м. б., мужа по боку и буду профессоршей?? Можно ли доверять девушкам? Можно, да не всем!»⁷.

2.

С ленинградцем Василием Лаврентьевичем Меркуловым я, москвич, виделся всего несколько раз – при его редких наездах в Москву и моих тоже не частых наездах в Питер. Но на протяжении восьми последних лет его жизни нас связывали очень теплые отношения. Они подогревались с обеих сторон «путем взаимной переписки». Эта переписка лежит сейчас передо мной. В ней много пробелов: некоторые его письма упоминаются, но физически отсутствуют. Мои ответные письма тоже представлены едва ли наполовину. На некоторые его послания я отвечал от руки, в одном экземпляре, но и копии машинописных ответов уцелели не все.

Как вообще они у меня оказались? Эту загадку я разгадать не в силах.

Покидая Советскую Россию в сентябре 1982 года, я не мог вывезти ни библиотеки, ни, тем более, архива. Неопубликованные рукописи и некоторые материалы я переснял на фото-плёнку, негативы удалось нелегально переслать друзьям в Штаты – около двух тысяч страниц. Но переписку с Меркуловым собрать и переснять я не успел. Папки с бумагами, которые рука не поднималась выбросить, я раздал друзьям, согласившимся их приютить. С какой целью – самому было неясно: ведь никому кроме меня они нужны не были, а я уезжал навсегда, с концами, будучи особо предупрежден в ОВИРе, что *никогда и не при каких обстоятельствах* не смогу вернуться.

Это пророчество не сбылось. С перестроечных лет я многократно бывал в России и даже привез несколько оставленных папок. Но не помню, чтобы в них были письма Василия Лаврентьевича Меркулова. Вернее, помню, что их не было. Да и не в этих папках они оказались. Пару лет назад, пытаясь навести порядок в бумагах, накопившихся уже здесь, в Штатах, я наткнулся на несколько писем Меркулова, потом еще и еще, иногда с подколотыми машинописными копиями моих ответов. Эти копии выглядят однообразно – на стандартных листах писчей бумаги, изрядно пожелтевшей от времени, некоторые с более, некоторые с менее четким шрифтом. (Копировальная бумага была дефицитом, ее приходилось использовать много-

⁶ Альбина Викторовна Яицких – жена В. Л. Меркулова.

⁷ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 3 января 1978 г.

кратно.) Письма Меркулова выглядят свежее моих ответов. Часть из них напечатана на полупрозрачной папиросной бумаге, от времени, как оказалось, не желтеющей. Другие написаны от руки, черными чернилами, на такой же папиросной бумаге или на тетрадных листках. А больше всего открыток – плотных, исписанных особенно мелко, чтобы больше текста вместить. Василий Лаврентьевич предпочитал посылать открытки – считал, что они быстрее доходят. Расшифровать письма Меркулова, написанные мелким, едва разбираемым почерком (таких больше половины) мне стоило немалого времени и труда, но отдельные места остались нерасшифрованными, впрочем, таких немного.

Повторяю, что не имею понятия о том, как эта переписка оказалась у меня в Вашингтоне. Мистика. Вмешательство потусторонних сил! Я не мог воспринять его иначе, как повеление свыше – рассказать об этом многострадальном Иове и о его великом учителе.

Глава вторая. В. Л. Меркулов – начало жизни

1.

Я никогда не расспрашивал Василия Лаврентьевича о подробностях его биографии, так что знаю ее лишь лоскутно, по отдельным вкраплениям в его письмах и разговорах: в основном-то они касались текущих проблем и забот.

В одном из писем 1976 года он упомянул о том, что 3 февраля ему исполнилось 68 лет, с чем я его и поздравил. Стало быть, родился он 3 февраля 1908 года, то есть принадлежал к поколению моих родителей: был на четыре года моложе моего отца и на два года старше матери.

Не могу назвать с точностью место его рождения, но скорее всего, это был город Иваново-Вознесенск, где прошли его детские и юношеские годы.

До революции это был заштатный городок Владимирской губернии, не имевший даже статуса уездного (входил в состав Шуйского уезда). Да и городом он стал только в 1879 году, в результате слияния села Иванова, что на реке Уводи (приток Яузы), с Вознесенским посадом.

Здесь закладывались ранние очаги российской промышленности, в основном текстильной. Так, крупному иваново-вознесенскому фабриканту и меценату Д. Г. Бурьлину, 1852 года рождения, не пришлось начинать свое дело с нуля: первую ситценабивную фабрику он унаследовал от деда, другие перешли к нему от отца; к ним уже добавлялись новые.

После отмены крепостного права начался бурный рост российской промышленности, и в первую голову таких ее очагов, как село Иваново и Вознесенский посад. Расширяясь, они двигались навстречу друг другу, пока не слились в одно целое. Здесь строились новые ткацкие фабрики, укрупнялись старые; вместе с ростом промышленности пополнялись ряды рабочего класса. Во второй половине XIX века Россия переживала демографический взрыв: рождаемость была высокой, а детская смертность пошла на убыль благодаря вхождению в жизнь элементарных правил гигиены. Недостатка дешевых рабочих рук для фабрик не было: шел приток избыточного населения из нищающих деревень.

На рубеже 19–20 веков положение рабочих в Иваново-Вознесенке было ужасающим. Полукустарное производство требовало малоквалифицированного ручного труда. Оплачивался он низко, причем копеечные заработки ополовинивались штрафами, кои накладывались на все – от нерасторопности на производстве до неисправного посещения церкви по воскресеньям. В тесных, не проветривавшихся помещениях рабочие по 12–14 часов в день дышали хлопковой пылью, испарениями красителей и кислот, нередко доводившими до обморочного состояния. В сушильных отделениях работать приходилось при температуре до 60° Цельсия. Теснота в цехах приводила к частым травмам. Профессиональной болезнью ткачей была чахотка, в то время неизлечимая. На свои заработки рабочие не могли снимать квартир и даже комнат, снимали «углы» или ютились в наскоро сколоченных, грязных, никогда не ремонтировавшихся бараках-общежитиях. За десять-пятнадцать лет работы на фабрике ресурс здоровья бывал исчерпан, и рабочего выкидывали на улицу. Эти сведения – не из писаний большевистских пропагандистов об ужасах капитализма, а из исследования жизни текстильщиков в журнале «Образование» за 1905 год (автор Н. Воробьев).

Хорошо обученных и обладавших высокой квалификацией мастеровых хозяева ценили не так, как чернорабочих. У них заработки были иные, жили они в собственных домах, с палисадниками, держали скотину, домашнюю птицу. Но основную массу трудяг составляла не эта *рабочая аристократия*, а голь перекатная – та самая, которой нечего терять кроме цепей. Она была особо восприимчива к революционной агитации, ее нетрудно было подбить на волнения, беспорядки, стачки.

Бесноватый большевистский вождь жадно вглядывался в город ткачей из эмигрантского далека в надежде, что именно здесь вбрасываемые им «Искры» возгорятся в пламя революционного пожара. Не зря надеялся! Весной 1905 года Иваново-Вознесенск был парализован всеобщей забастовкой, здесь возник первый городской Совет рабочих депутатов (знаменитый Петросовет появился позднее!). В центре города, на торцевой стене одного из многоэтажных зданий, на большой высоте, чтобы видно было издали, до сих пор красуется барельеф Ильича с вычеканенным под ним текстом: *«Пролетариат московский, питерский и иваново-вознесенский... доказал на деле, что никакой ценой не уступит завоевания революции»*.

Цену за эти завоевания пришлось заплатить непомерную. После Октябрьского переворота предприятия стали, десятки тысяч ткачей лишились своих жалких заработков. В городе шли поиски «врагов», с ночными обысками, облавами, арестами правых и виноватых, бессудными расстрелами. Когда ткачи, осознав, в какую пропасть затолкали их большевики, вышли на улицу с требованием свободных выборов в советы, рабоче-крестьянская власть устроила им такую кровавую баню, что казацкие нагайки и ружейные залпы, коими угощали стачечников при проклятом царском режиме, вспоминались как детские забавы.

Был ли отец Василия Лаврентьевича чернорабочим, мастеровым или (чем черт не шутит!) предпринимателем, мне неизвестно. Скорее всего, он был скромным конторским служащим или фельдшером, или школьным учителем, чей небольшой заработок позволял доставлять пропитание семье.

Семья у Лаврентия Меркулова была большая, но над нею тяготел неумолимый рок. Как написал мне однажды Василий Лаврентьевич, до 1916 года его родители похоронили восьмерых сыновей и трех дочерей. Отец был раздавлен горем. «По воскресеньям [он] посещал кладбищенскую церковь на окраине Иванова-Вознесенска и долго сидел у могил»⁸. Мать посылала Васю, единственного оставшегося сына, на кладбище – уговаривать отца идти домой. Отец подолгу сопротивлялся, но Вася все-таки его уводил.

2.

Не знаю, где Вася учился, но знаю, что рос он любознательным мальчиком. Бывал, например, в музее, созданном местным Третьяковым – уже упоминавшимся меценатом Д. Г. Бурылиным.

Дмитрий Геннадьевич Бурылин был одним из тех редких самородков, которыми издревле держалась русская земля.

Принадлежал он к купеческому роду, придерживался старой веры с ее строгими нравами и особой суровой закваской. От деда к Бурылину перешла не только фабрика, которой он стал управлять в четырнадцать лет, но и такое напутствие:

«Жить не зависит от нас, а хорошо жить от нас зависит. Познания свои должно употреблять на истинную пользу и благо своих ближних и Отечества. Доверчивость – качество благородное и великодушное, существует в одних чистых душах. Тщетно суетный и развращенный свет старается делать её смешною, опасность её предпочтительнее несчастий, следующих за противным ей пороком. Доверчивые люди бывают иногда обмануты, но те, кои проводят жизнь в недоверчивости, находятся беспрестанно в жалостном состоянии. Надежда на Бога есть лучшая подпора в жизни. Несчастия научают нас Благоразумию»⁹.

Следуя этому завету, Бурылин устраивал бесплатные столовые для детей бедноты, слал щедрые подарки в сиротские приюты, насадил липовые аллеи на двух центральных улицах города, конечно, жертвовал немалые суммы церквам. Деревянную церквушку XVII века, под-

⁸ Архив автора, письмо В. Л. Меркулова от 1 апреля 1980 г.

⁹ Цит. по: Википедия, статья «Д. Г. Бурылин».

лежавшую снос, он спас от уничтожения, перенес ее на Успенское кладбище, где, как говорят, она стоит до сих пор.

Главным делом жизни Д. Г. Бурылина было собирание редкостей, во что он вкладывал всю свою страсть и значительную часть барышей. Он так и говорил: «Музей – это моя душа, а фабрика – источник средств для жизни и его пополнения».

Здание музея строилось в 1912–15 годах, на глазах подраставшего Васи Меркулова. Бурылин подарил его городу – вместе с размещенной в нем коллекцией.

Какую-либо систему в коллекционировании Бурылина отыскать трудно. В музее нашли уют его археологическая коллекция, этнографическая коллекция, нумизматическая коллекция, коллекция курительных трубок, коллекция чернильниц (!), игральные карты (!), одежды, женских украшений, икон, редких книг, часов, картин и гравюр. Википедия особо отмечает его «“масонскую коллекцию”, в которой были масонские знаки разных стран, символические одежды, рукописи, книги, а также оружие и предметы для посвящения в рыцари»¹⁰. В 1920-х годах эту коллекцию передислоцировали в Эрмитаж, видимо, как наиболее ценную. Именно об этой коллекции написал мне однажды Василий Лаврентьевич: «Д. Г. Бурылин скупил редкие шотландские рукописи масонов и попутно регалии Гроссмейстера Мальтийского ордена Павла I»¹¹. В этом же письме такая характерная для времени подробность: «За участие в заседании ложи масонов в 1929 году мой товарищ по общежитию был исключен из рядов, а вся ложа осела!»¹². Большевицкие власти бдительно хранили ценные масонские реликвии, но не могли допустить масонской деятельности, как и никакой другой, им не подконтрольной.

Фабрики Бурылина советская власть национализировала, его большой двухэтажный особняк – реквизировала, музей стал собственностью города и был переименован в Иваново-Вознесенский городской музей. К счастью, самого Дмитрия Геннадиевича в расход не пустили. Его определили хранителем музея, который пролетарская власть прихватила, но сама не могла им управлять. К 1924 году власть, наконец, решила, что может обойтись без *буржуазного специалиста*. Бурылина ложно обвинили в хищении музейных экспонатов и уволили. Нового удара судьбы он не смог перенести. Ареста он избежал только потому, что вскорости умер.

Как Меркуловы пережили лихую годину войн и революций, Василий Лаврентьевич не упоминал, написал только, что «27 августа 1921 года он [отец] умер от рака, и я сам сколотил ему гроб, а потом свалилась мать, и 19 января 1923 года я превратился в круглого сироту! После похорон матери у меня были тягостные галлюцинации, мне казалось, что за мной приходил отец и тянул на кладбище?!»¹³

Так 15-тилетний подросток остался один-одинешенек на всем белом свете – среди зимы, в холодной и голодной стране, разоренной революционной смутой, гражданской войной и обрушившимся после нее страшным голодом. Чем он кормился, как выжил, как не угодил в одну из трудовых колоний для беспризорных, каковые в ударном порядке создавались ведомством Дзержинского (а, может быть, угодил!), – об этом никаких упоминаний в его письмах нет.

А о чем мечтал осиротевший подросток, кем видел себя в будущем?

Об этом случайно обронил несколько строк в одном из писем – в связи с согрешившим его душу подарком: книгой «Археология на дне моря» «с дивными рисунками и фото». Листая книгу, он вспомнил:

¹⁰ Там же.

¹¹ Архив автора, письмо В. Л. Меркулова от 12 апреля 1980 г.

¹² Там же.

¹³ Там же, то же письмо.

«Когда-то я мечтал стать археологом, но затем мне дали на лето 1924 года плохонький микроскоп, и я махнул рукой на археологию. А ведь мои соклассники ездили с Экземплярским в Боголюбове и Суздаль летом 1925 делать первые раскопки!»¹⁴.

Кто такой Экземплярский?

В интернете я не нашел упоминаний о таком археологе. Если допустить, что Меркулов описался, пропустил букву в фамилии, то поиск выводит на Василия Ильича Экземплярского (1875–1933), приват-доцента, затем профессора Киевской духовной академии. В 1912 году он был из нее уволен за статью, в которой, критикуя учение Льва Толстого, позволил себе положительно отозваться о его нравственной проповеди. Но в 1917 году был восстановлен. Википедия называет В. И. Экземплярского религиозным философом, богословом, публицистом, коллекционером изображений Иисуса Христа, коих он собрал более 10 тысяч. Но никаких сведений о том, что он был также археологом, я не обнаружил. К тому же в 1920 году он ослеп. Словом, к раскопкам в Суздале и Боголюбове, о которых упоминает Василий Лаврентьевич, он отношения иметь не мог. Да ведь и Вася Меркулов в них не участвовал. Его заворожил микроскоп, он решил стать биологом.

¹⁴ Там же, письмо В. Л. Меркулова от 28 ноября 1978 г.

Глава третья. В Ленинградском университете

1.

В 1926 году 18-летний Василий Меркулов появляется в Ленинграде и становится студентом университета.

Университет находился на Васильевском острове, в узком и бесконечно длинном трехэтажном здании бывших 12 петровских коллегий. Здание было выкрашено в темно-красный, с прочерную, цвет. Узким фасадом оно выходило к Неве. На другом берегу, зеркально отражаясь в свинцовой воде, стоял во всей своей барочной красе Зимний Дворец – тоже темно-красного, с прочерную цвета: так незадолго до революции были выкрашены казенные здания Петрограда.

О том, как в те годы жили и учились студенты, которым неоткуда было ждать помощи, я немного знаю по рассказам моей матери о ее старшем брате (моем дяде) Михаиле Соломоновиче Сороцком. Он приехал в Москву из маленького еврейского местечка на Украине. При зачислении в университет ему, в качестве стипендии, предложили на выбор: общежитие и завтрак или обед и ужин. Жить было негде, и он выбрал общежитие и завтрак. На обед и ужин зарабатывал по ночам – разгрузкой железнодорожных вагонов. Желающих разгружать вагоны было много, а вагонов – мало, так что заработать удавалось не каждую ночь, потому и обедать приходилось не каждый день.

О Ленинградском университете той поры оставила воспоминания известная писательница И. Грекова, она же – крупный математик Елена Сергеевна Вентцель, в девичестве Долгинцева. Она была всего на год старше В. Л. Меркулова, но поступила в университет тремя годами раньше, 16-летней, благодаря выдающимся способностям и более благополучному детству.

Жизнь университета кипела в тянувшемся на всю длину здания коридоре второго этажа. Коридор был «полон людьми, встречами, радостями. Называли мы друг друга только что приобретенным словом «коллега» (какое счастье!)», вспоминала И. Грекова. «Человек, стоявший в другом конце коридора, казался отсюда букашкой. Вдоль коридора шли, смеясь и радуясь, студенты всех факультетов. Шли, нарядные и напудренные, белея носами, студентки-фоновки («Фоном» тогда назывался филологический факультет). Шли студенты-биологи с какими-то клетками, где, кажется, трепетали птицы. Вдоль стенок коридора стояли всегда запертые книжные шкафы (не библиотечные, книги из них никому, сколько я понимаю, не выдавались). Они стояли, как бы мигая тусклой кожей старинных переплетов со следами кое-где сохранившейся позолоты. Идя по коридору, мы погружались в затейливую старину».

Студенческая жизнь запомнилась И. Грековой сплошным праздником, «этаким нескончаемой вольницей». Не в последнюю очередь, потому, что на ее математическом отделении из 280 студентов было всего пять девушек. «Естественно, вниманием мы пользовались необычайным. Группа мужчин и одна девушка. «Собачья свадьба» – бурчал недовольно старик-сторож у парадного входа. Так и помню наше человеческое стадо, перебегающее по Дворцовому мосту на другой берег Невы, наши шутки, наши анекдоты, наш непрекращающийся смех. Все почему-то казалось тогда смешным до уморы».

«В те времена мы совсем не чувствовали страха, – продолжает писательница-математик. – Отсутствие страха – главная черта тех времен. Голод и отсутствие страха». «Мы полуголодные, а то и вовсе голодные, студенты радовались жизни. НЭП только что вступил в свои права, в стране было много безработных, но заработать себе на жизнь не представляло боль-

шого труда. Студенты-мужчины нашего факультета зарабатывали разгрузкой и погрузкой барж на Неве, железнодорожных вагонов (баржи считались выгоднее)»¹⁵.

Надо полагать, что разгрузкой барж и вагонов или чем-то подобным зарабатывал на полуголодное существование и *коллега* Е. С. Долгинцевой с биологического отделения Василий Меркулов. Что же до ощущения вольницы и отсутствия страха, то с этим было не так просто. Кроме второго этажа в бесконечно длинном университетском здании был еще третий. Там обитали «комсомольцы сверху <...> решавшие какие-то мировые проблемы». Они занимались «общественными» делами. И. Грекова об этом пишет с иронией, утверждая, что ее и ее *коллег* деятельность комсомольцев сверху никак не затрагивала. Но тут же она свидетельствует, что «нас перестраивали, а мы сопротивлялись. Сопротивлялась, как ее полуофициально называли, «белогвардейская профессура». Она свирепо отстаивала право студента ходить только на те лекции, которые он сам для себя выбирал»¹⁶.

Белогвардейскую профессуру и не очень красногвардейское студенчество *перестраивали* не только тем, что вводили обязательное посещение лекций. На профессуру то и дело налетали коршуны ГПУ, выхватывая жертвы из ее рядов и держа в постоянном напряжении пощаженных. Студенчество тоже периодически очищали от буржуазных, религиозных и прочих незнатных элементов: исключение студента за участие в масонской ложе было не единственным фактом такого рода.

Студенчество перевоспитывали всевозможными митингами, диспутами, литературными вечерами. Многие из них были интересны. Встреч с писателями Василий Меркулов старался не пропускать. Слушал выступления Маяковского, Безыменского, Жарова, Уткина, Кирсанова, Каверина. О том, что не смог попасть на вечер Николая Клюева, и через сорок лет вспоминал с сожалением.

В конце декабря 1976 года умер писатель Лев Иванович Гумилевский. Имя это не было на слуху. Сообщая печальную новость В. Л. Меркулову, я сопроводил ее небольшим пояснением:

«Ему минуло 86 лет, и печататься он начал в 1914 году. В 20-е годы он издал нашумевший тогда роман “Собачий переулочок”, за который его изрядно били, а потом выпустили его 5-томное собрание сочинений, так что он был тогда очень знаменит. С начала 30-х годов он стал писать биографии ученых и написал целую библиотеку. Я знал его последние 15 лет и думаю, что за всю свою жизнь он никому не сделал ни малейшей пакости или неприятности. Но он чуждался всякой околосредовой возни, не командорствовал в Союзе писателей, не ходил на заседания, не имел литфондовой дачи... И, как результат, очень скромные, чисто семейные похороны без единого официального лица»¹⁷.

Оказалось, что Василию Лаврентьевичу имя Гумилевского было очень даже знакомо – с 1927 года, когда его «разоблачали» на студенческом митинге в актовом зале ЛГУ. Меркулов вспомнил, что вместе с «Собачим переулочком» Гумилевского тогда же «был погром», как он выразился, и опуса Пантелеймона Романова «Без черемухи». Писателей-«попутчиков» громили с самых передовых пролетарских позиций.

Проработочные митинги были неотъемлемой частью жизни университета. Василию Лаврентьевичу особо запомнился митинг – в том же 1927 году – по поводу «перехода на сторону империалистов» недавнего китайского друга советской страны Чан Кайши. Предателя Чан Кайши яростно клеймили... его родной сын Цзян Цзинго, он же Николай Владимирович Елизаров. Он «с трибуны проклинал отца, чтобы потом стать его опорой», саркастично заметил Василий Лаврентьевич¹⁸. Можно только догадываться, что испытывал сын, произнося свои

¹⁵ И. Грекова. Ленинградский университет в 20-х годах, <http://libelli.narod.ru/misc/lgu20.html>

¹⁶ Там же.

¹⁷ Архив автора. Письмо С. Е. Резника В. Л. Меркулову от 10 января 1977 г.

¹⁸ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 14 января 1977 г.

громовые проклятья, и что испытывали переполнявшие зал студенты, которых *комсомольцы сверху* накачивали такими *минутами ненависти*.

Этот чисто оруэловский эпизод я попытался прояснить по доступным источникам, и передо мной раскрылась поистине удивительная драма *загадочной китайской души*.

2.

Старший сын Чан Кайши Цзян Цзинго (1910–1988) 15-летним подростком был направлен на учебу в Москву, в Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена – незадолго перед тем скончавшегося основателя либерально-социалистического движения Гоминдан. После кончины Сунь Ятсена движение возглавил Чан Кайши. Ленин и его окружение возлагали большие надежды на Гоминдан как на основную революционную силу Китая. В качестве автономного звена в Гоминдан входила и совсем еще молодая Компартия.

Сына главы Гоминдана в Москве приняли с особым почетом и для первоначальной адаптации поселили у старшей сестры Ленина Анны Ильиничны Елизаровой, потому он и стал Елизаровым. Николаем Владимировичем он стал в честь Ильича, который подписывал свои статьи псевдонимом «Николай Ленин».

Став студентом вновь созданного университета, Коля Елизаров тотчас вступил в комсомол, точнее, в КИМ – коммунистический интернационал молодежи. Вскоре он возглавил комсомольскую организацию университета. Между тем, в Китае все более острой становилось борьба (поначалу только идейная) между Гоминданом во главе с Чан Кайши и коммунистами во главе с Мао Цзэдуном, и она тотчас отозвалась в Университете трудящихся Китая. Студенты разделились на сторонников Гоминдана и сторонников компартии. В столкновениях этих двух групп сын Чан Кайши занял позицию несгибаемого коммуниста, а в столкновениях внутри коммунистического крыла между сторонниками Сталина и Троцкого он показал себя ярким троцкистом. Троцкисты, как известно, делали ставку на мировую революцию, что, конечно, китайским товарищам было ближе сталинского курса на построение социализма «в одной отдельно взятой стране».

К 1927 году борьба в Китае приняла силовой характер. Мао Цзэдун отдал тайный приказ об аресте Чан Кайши. Акция не удалась, после чего Чан Кайши стал очищать Гоминдан от коммунистов. В стенах Университета им. Сунь Ятсена никто так горячо не нападал на Чан Кайши, как его сын Николай Елизаров:

«Измена Чан Кайши не удивляет. Когда он на словах славил революцию, он уже начал тайно предавать ее. Для него дело революции давно уже закончилось».

В печати появилось заявление, в котором комсомолец Цзян проклял своего отца и *навек* отрекся от него, «повторив» подвиг Павлика Морозова за несколько лет до самого Павлика. Цзяну была устроена своего рода гастрольная поездка, проходившая и через Ленинградский университет, где его проклятьям в адрес отца внимал студент Василий Меркулов.

Дальнейшая судьба Цзяна Цзинго столь же уникальна, сколь и характерна для того времени.

Успешно окончив Университет трудящихся Китая, он поступил на военные курсы особого назначения, затем в Ленинградскую военно-политическую академию имени Толмачева, где тоже был избран в комсомольское бюро. В 1929 году (по другим данным в 1930-м) он стал кандидатом в члены ВКП(б). Окончив военную академию, он просил направить его в Красную Армию – советскую или китайскую, ибо в Китае уже шла полномасштабная война между коммунистами Мао Цзэдуна и гоминдановцами Чан Кайши. Понятно, какой эффект имело бы появление сына Чан Кайши в военном лагере Мао! Но – доверия к Коле Елизарову все еще не было. При двух высших образованиях и боевой комсомольской биографии его направили на московский завод «Динамо» – учеником слесаря. Он вкалывал на самых черных работах и жил

впроголодь: зарплата пролетария была столь мизерной, что ее не хватало на самую скудную пищу. Отслеживать его контакты в столичном городе было сложно, и через год его услали в отдаленный колхоз – в село Жуково где-то между Москвой и Рязанью. А еще через год – на Алтай, рабочим одного из золотых приисков, где ему пришлось особенно солоно. Чем руководствовались его кремлевско-лубянские кураторы, можно только гадать.

В конце 1933 года Цзяна-Елизарова направили в Свердловск, на крупнейшую «стройку коммунизма» – Уралмашзавод. Здесь он снова начал рабочим-слесарем, но скоро стал бригадиром, затем заместителем начальника цеха, а затем его перебрасывают на идеологический фронт: ответственным секретарем, потом и. о. главного редактора заводской многотиражки «За тяжелое машиностроение». В конце 1936 года, после шести лет кандидатства, его принимают в члены ВКП(б); в заявлении он пишет, что готов «отдать всю свою жизнь за дело Ленина-Сталина».

К этому времени Коля Елизаров уже был женат – на комсомолке Фаине Вахревой, вскоре у них родился сын.

И вдруг – гром среди ясного неба! Арестованы его друзья (и, по-видимому, приставленные к нему надсмотрщики), твердокаменные партийцы Евгений Цетлин и Леопольд Авербах – недавний политкомиссар *пролетарской литературы*. Елизарова-Цзяна обвиняют в потере бдительности, припоминают его *троцкизм*, находят политические ошибки в редактируемой им газете; на него поступает донос как на японского шпиона. Его увозят в Москву, многие уверены, что на Лубянку. Но в столице происходит невероятное: вместе с женой и годовалым сыном его пересаживают в дальневосточный экспресс и отправляют в Китай.

Неожиданный гуманизм Кремля объяснялся резким изменением международного климата на Дальнем Востоке. Япония готовила вторжение в Китай; компартия, многократно битая Гоминданом, вероятно, по *совету* из Москвы, предложила прекратить междоусобицу и объединиться для отпора общему врагу. Чан Кайши уже не питал в отношении коммунистов никаких иллюзий, но после долгих колебаний, согласился. Однако поставил условие: ему должны вернуть заложника-сына. Это и было сделано – не без надежды, что Коля будет оказывать *правильное* воздействие на отца.

Цзяну Цзинго пришлось заново осваивать родной язык, китайские традиции и образ жизни – за годы в советской России он все это изрядно забыл. Тем же занялась его русская жена Фаина Вахрева, ставшая Цзян Фанлян. Она родила ему еще троих детей.

Свое отречение от отца Цзян Цзинго назвал вынужденным, и Чан Кайши это удовлетворило. Сын стал его верным соратником, стойким антикоммунистом, приверженцем демократического социализма.

После разгрома Японии вражда между Гоминданом и коммунистами возобновилась, но соотношение сил уже было другим. Советские войска стояли в Манчжурии. При их помощи китайские коммунисты получили решающее превосходство над Гоминданом и в союзе с ним больше не нуждались.

В надежде, что еще не все потеряно, Чан Кайши направил своего сына в Москву для переговоров. Цзяну были оказаны почести как самому высокому иностранному гостю. Его принял Сталин – в присутствии Молотова, а также сотрудника Наркомата иностранных дел Павлова и посла Китая в СССР Фу Бинсана. Цзян Цзинго просил Сталина ясно изложить претензии к правительству Китая, заверяя, что все они будут удовлетворены. Сталин ответил, что не знает внутренней обстановки в Китае и потому никаких претензий не имеет, но у него есть вопросы: почему в Манчжурии разбрасываются листовки с призывами – резать советских солдат? Разтеревшийся Цзян Цзинго пробормотал, что это какая-то ошибка, может быть, провокация; Гоминдан к таким листовкам непричастен. Возможно, ответил Сталин, но некоторые распро-

странители листовок схвачены, они называют себя членами Гоминдана. Может быть, все они – самозванцы?¹⁹

Ничего хорошего правительству Чан Кайши такие «вопросы» не сулили. Правда, Сталин пообещал вывести советские войска из Манчжурии и обещание сдержал. Но власть в освобожденных районах передавалась коммунистам. Им же передавалось оружие и снаряжение. С этого плацдарма Мао Цзэдун, при неограниченной поддержке Страны Советов, развернул наступление на армию Чан Кайши, и за три года весь континентальный Китай был «освобожден». В 1949 году была торжественно провозглашена Китайская Народная Республика. Чан Кайши вместе с сыном и остатками своей разбитой армии эвакуировался на Тайвань, где не надеялся закрепиться. От вторжения на остров коммунистов удержала вспыхнувшая война в Корее, куда Мао, опять же по «совету» Москвы, направил миллионную армию «китайских добровольцев». Это дало возможность Чан Кайши консолидировать свою власть на Тайване, укрепить вооруженные силы, заручиться американской поддержкой. Цзян Цзинго при нем возглавлял тайную полицию, а в 1973 году, когда старый и больной Чан Кайши отошел от дел, вся фактическая власть на острове перешла к его сыну. С 1978 года Цзян Цзинго стал президентом Китайской республики на Тайване и оставался им 10 лет, до самой смерти. При нем на острове было достигнуто экономическое процветание, отменено военное положение, введено демократическое конституционное правление. Самому ему от тайваньского «экономического чуда» не перепало ничего. После его смерти недавняя Первая леди Тайваня Цзян Фанлян и ее семья остались без средств к существованию и должны были хлопотать о государственной пенсии. Незадолго до смерти, спрошенный журналистом, каков самый важный урок, которому научила его жизнь, полуслепой, не встававший с инвалидной коляски Президент Китайской республики Тайвань с неожиданным темпераментом прокричал:

– Искоренять коммунизм! Коммунизм – это самая большая угроза миру сегодня. Истоки мирового хаоса – в коммунизме²⁰.

¹⁹ Сталин И. В. Беседа с Цзян Цзинго, личным представителем Чан Кайши, 3 января 1946 года. Сталин И. В. Сочинения, т. 18, Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. С. 397–409. http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/t18_190.htm.

²⁰ Сведения о Цзяне Цзинго почерпнуты из нескольких источников, наиболее содержательный из них – статья Олекса Пидлущого «Коля Елизаров – президент Тайваня», «Зеркало недели» № 4, 2 февраля 2002.

Глава четвертая. В. Л. Меркулов: первое знакомство

1.

С Василием Лаврентьевичем Меркуловым я впервые встретился в апреле 1972 года – на симпозиуме по проблемам биографии творческой личности, организованном под эгидой Института истории естествознания и техники (ИИЕиТ). Не могу вспомнить, где он проходил. Почему-то кажется, что в Доме ученых на Пречистенке, рядом со станцией метро Кропоткинская, но не могу поручиться. Помню просторный светлый зал с высоким лепным потолком и большими сводчатыми окнами.

К началу я сильно опоздал и вошел посреди чьего-то доклада. Задержался в дверях, бегло оглядел зал. Глаз тотчас выхватил худощавую фигуру Юрия Ивановича Миленушкина, заведующего кабинетом истории в Институте микробиологии и эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он скромно сидел в одном из задних рядов и с напряженным вниманием слушал докладчика. Рядом с ним сидела смуглолицая Н. А. Григорян – ее специальностью была история физиологии. С ней я едва был знаком, но мне приходилось читать ее статьи – содержательные, но пресноватые, всегда идеологически *правильные*.

Ю. И. Миленушкина я знал в связи с работой над книгой о Мечникове, тогда еще не завершенной. Историей микробиологии он занимался давно, был автором нескольких биографических очерков об ученике Мечникова Н. Ф. Гамалее, были у него публикации и о Мечникове. Я пару раз был у него в институте, беседы с ним были полезны, но протекали формально, хотя внешне доброжелательно. У меня было ощущение, что Миленушкин воспринимал меня настороженно, как чужака, вторгшегося в его вотчину. Опыт учил держаться от таких доброжелателей на расстоянии и стараться, чтобы рукопись не попала к ним на рецензию. После выхода книги пусть говорят и пишут, что угодно, а до выхода давать им свой текст на суд и расправу рискованно!

Пригнувшись, чтобы никому не мешать, я тихо прошел по проходу и сел на свободное место во втором или третьем ряду.

За столом президиума, покрытого, как полагается, зеленым сукном, председательствовал директор ИИЕиТ академик Б. М. Кедров. Он выглядел еще более обрюзгшим и постаревшим с тех пор, как я его видел. Рядом – его заместитель и верный Санчо Панса, членкор С. Р. Микулинский, совершенно не меняющийся. (Через два года, когда Кедров уйдет с поста директора, его место займет Микулинский).

С Семеном Романовичем я был знаком уже без малого десять лет. Впервые я пришел к нему, когда стал работать в редакции серии ЖЗЛ, где мне был поручен раздел книг об ученых. Заведующим редакцией тогда был Юрий Николаевич Коротков. У него возникла идея придать отбору героев для наших книг некую систему, чтобы за обозримый период времени, допустим, за пять лет, дать круг чтения по всей мировой истории и культуре. Из моря имен выдающихся личностей следовало отобрать 120–150 с таким расчетом, чтобы охватывались основные исторические эпохи, все крупные страны мира или хотя бы регионы, основные области культуры. Ученых-естествоиспытателей в этом списке должно было быть примерно 30–40, они должны были представлять развитие основных разделов науки: физики, математики, химии, биологии, наук о Земле и т. д.

Сразу скажу, что из этой затеи ничего не вышло и, по-видимому, не могло выйти. Написание полноценной научно-художественной биографии – задача слишком сложная, чтобы производство таких книг можно было поставить на поток. На некоторые темы найти подходящего автора было вообще невозможно, другой автор затянет работу на десять лет. Когда я пришел

в редакцию, работа по составлению перспективного плана уже велась, и я должен был в нее включиться. Списки наиболее крупных ученых по разным разделам науки уже были подготовлены, но это было самое простое. Главное состояло в том, чтобы по каждому разделу из десятков имен выбрать пять-шесть наиболее, как сейчас говорят, *знаковых*. Произвол требовалось свести к минимуму, поэтому приходилось консультироваться с видными специалистами по каждому разделу науки.

Семен Романович Микулинский, доктор наук, специалист по истории биологии, тогда только что стал заместителем директора ИИЕиТ. Институт располагался в старинном здании в центре Москвы, недалеко от Лубянки. Микулинский принял меня в своем кабинете. Ему тогда едва перевалило за сорок, но по виду трудно было определить его возраст. Черноглазый и черноволосый, с волнистой, аккуратно уложенной шевелюрой на косой пробор, подтянутый и хорошо сложенный, он выглядел бы молодым и энергичным, если бы не вялое рукопожатие и усталое, какое-то помятое лицо с темными набрякшими подглазьями. Одетый с безукоризненной аккуратностью, он скорее походил на добросовестного службиста, чем на ученого. Таким я увидел его при первом знакомстве и таким он оставался потом на протяжении многих лет.

Не помню, чтобы он предложил коррективы к наметкам нашего плана. Но он заметно оживился, увидев в списке биологов имя Николая Ивановича Вавилова.

В научных и околонуточных кругах это имя было своего рода паролем. На сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» – оно давало однозначный ответ. Великий растениевод и генетик был затравлен *колхозным ученым* Т. Д. Лысенко, арестован и погиб в заключении. Труды его были изъяты из библиотек, имя нигде не дозволялось упоминать. После смерти Сталина он был реабилитирован (потому и мог быть в нашем списке), но генетика оставалась *буржуазной лженаукой*, поганым *менделизмом-вейсманизмом*, *служанкой ведомства Геббельса*. Широкой публике имя Николая Вавилова было почти неизвестно – в отличие от его брата Сергея Вавилова, крупного физика, президента АН СССР.

Микулинский сказал, что книгу о Николае Ивановиче Вавиллове надо издать в первую очередь, и подчеркнул, что это очень важно. О том, что вскоре я сам приступлю к книге о Вавиллове, я не подозревал и ответил, что найти автора для этой темы не просто: большинство писателей, писавших о биологах и селекционерах, пели осанну Лысенко, привлекать их для написания книги о Вавиллове было бы кощунством. При этих моих словах Микулинский как-то сник; мне стало ясно, что я сболтнул лишнее: ведь Лысенко был еще в полной силе. После паузы, глядя куда-то в сторону, Микулинский совсем другим тоном сказал:

– Это не так просто, у академика Лысенко есть заслуги...

Я понял, что имею дело с очень осторожным дипломатом.

После падения Хрущева (октябрь 1964-го) Лысенко перестал быть неприкасаемым, и в считанные недели от всего «мичуринского» учения, лидером которого считался Лысенко, не осталось мокрого места. Микулинскому уже не надо было дипломатничать. Но вкрадчивая осторожность проявлялась во всем его облике.

27 декабря 1968 года был подписан «в свет» сигнал моей сильно урезанной из-за цензуры книги о Вавиллове. Я запомнил дату, потому что это был день рождения моей мамы. По производственным условиям стотысячный тираж книги был уже отпечатан. Пользуясь тем, что я в издательстве *свой*, я спустился в типографию и выпросил экземпляр, чтобы показать его дома, не подозревая, каким драгоценным он вдруг окажется.

Сразу после новогодних праздников из ЦК партии пришла команда: книга идеологически вредная, не выпускать! На мое счастье, десятая часть тиража к тому времени уже была отправлена в книготорг, но директор издательства В. Н. Ганичев настолько перетрусил, что отказался выдать мне положенные по договору авторские экземпляры. Пытаясь найти защиту со стороны влиятельных ученых, я побывал в нескольких высоких кабинетах и, конечно, приехал к Микулинскому. Молча выслушав меня, он вызвал к подъезду черную институтскую

«Волгу». Вырулив на Ленинский проспект, мы покатали к директору института академику Б. М. Кедрову домой: он в это время «болел». Кедров жил на улице Губкина, в большом академическом доме, который боковой стороной выходил на улицу Вавилова [С. И.], а фасадом смотрел на Институт общей генетики имени Вавилова Н. И.²¹

Бонифатий Михайлович Кедров сам открыл дверь и провел нас в свой кабинет. Я тогда его увидел впервые. Он был в распахнутой домашней тужурке и мягких шлепанцах, с двух или трехдневной серебристой щетиной. Он был много старше Микулинского, но значительно живее и энергичнее, несмотря на избыточную полноту. Он вовсе не выглядел больным.

Быстро оценив ситуацию, он попросил оставить ему книгу на одну ночь и утром вернул мне ее с подробным защитительным отзывом на четырех страницах на своем официальном бланке. Правда, отзыв был адресован не в ЦК партии, откуда пришла гроза и где у него были прочные связи, а директору издательства «Молодая гвардия» В. Н. Ганичеву, которому мне и пришлось его вручить. Сыграл ли этот отзыв какую-то роль в спасении книги, мне осталось неизвестно, но готовность, с какою академик бросился защищать «идеологически вредную» книгу, много стоила.

Я подумал, что в перерыве надо будет подойти к Кедрову и еще раз поблагодарить за ту, уже давнюю, поддержку, но он посмотрел на часы, шепнул что-то Микулинскому, тихо поднялся и вышел. Видимо, спешил на другое совещание. Следующих докладчиков объявлял Микулинский. Он и назвал имя Василия Лаврентьевича Меркулова, доктора биологических наук, старшего научного сотрудника Физиологического института им. академика А. А. Ухтомского при Ленинградском университете.

2.

К трибуне докладчик двигался медленно, тяжело, опираясь на костыли, рывками перебрасывая грузное тело. На трибуне он долго прилаживал костыль, продолжая опираться на другой; неловко перебирал бумаги свободной рукой. Это был пожилой человек, с большой головой, увенчанной редкой сединой, с простецким почти крестьянским лицом и неожиданно яркими живыми глазами. Заговорил он тоже неожиданно бодрым, густым баритоном.

Текст его доклада «О трактовке мотивации творчества отечественных натуралистов» опубликован в изданной по следам симпозиума книге «Человек науки»²². Я внимательно перечитал доклад и убедился, что напечатанная версия значительно пригладена. Автору пришлось кое-что притушить и кое-что вписать *для порядка*, чтобы не дразнить гусей. На чем, надо полагать, настоял научный редактор сборника М. Г. Ярошевский, с которым, как я потом узнал, Меркулова связывали многолетние сложные отношения. Ядро первой половины доклада состояло в том, что «мотивацией» исследований Ивана Петровича Павлова служили в основном труды французского физиолога XIX века Клода Бернара. В подтверждение Меркулов сопоставлял работы двух ученых и приводил высказывания самого Павлова о Бернаре. Тут где-то сзади послышался шумок, затем раздалось негодующее восклицание в два голоса:

– А Сеченов!

– А Сеченов!..

Я обернулся и увидел гневное худощавое лицо с трясущимися губами Ю. И. Миленушкина. Так же сердито посверкивала углистыми глазами сидевшая рядом с ним Н. А. Григорян. Оба были полны негодования, словно им нанесено личное оскорбление.

²¹ Институт генетики АН СССР был создан в 1933 году, под руководством Н. И. Вавилова. Преобразован из Лаборатории генетики, которой Вавилов руководил с 1930 г. После его ареста в августе 1940 году директором института стал Т. Д. Лысенко, который перевел его на рельсы «мичуринского учения». После падения Хрущева в 1964-м лысенковский институт был ликвидирован, вместо него был создан Институт общей генетики имени Н. И. Вавилова; директором института стал Н. П. Дубинин.

²² «Человек науки», под ред. М. Г. Ярошевского, М., «Наука», 1974, стр. 160–172.

Докладчик оторвался от текста, с удивлением посмотрел в зал, пожал плечом, не опиравшимся на костыль, и сделал недоуменный жест свободной рукой:

– Я же привожу факты.

Для непосвященных этот обмен любезностями выглядел бы вполне невинно, но в зале непосвященных не было!

В эпоху позднего сталинизма, когда Россия сделалась родиной слонов, а также всех важнейших достижений науки и техники, утвердилась жесткая схема: отечественная физиология создана великим ученым-материалистом Иваном Михайловичем Сеченовым, академик Павлов – великий продолжатель Сеченова. Это стало такой же непреложной истиной, как то, что Сталин – продолжатель дела Ленина. Любое отклонение от этой схемы представлялось низкопоклонством перед буржуазной наукой. К 1970-м годам догмы сталинизма, казалось бы, были давно похоронены, но многие из тех, кто их насаждал, были живы, влиятельны и не собирались уступать своих позиций. С рудиментами этих догм то и дело приходилось сталкиваться. Видны они и в книге «Человек науки». Чего стоит хотя бы такая сентенция из редакционного предисловия:

«Полемика, ведущаяся <...> в капиталистических странах, отражает антагонистический характер противоречий между достижениями современной научно-технической революции и социальными условиями, препятствующими развитию сущностных сил целостной человеческой личности, возможностей ее познания и самопознания»²³.

Полная бессмыслица, но какова аранжировка! Чтобы нельзя было заподозрить редактора в том, что ему недостает *классового подхода* к загнивающему капитализму, который вот-вот должен рухнуть под тяжестью своих антагонистических противоречий!

После доклада Меркулова был объявлен перерыв. Захлопали кресла, притомившаяся публика потянулась из зала, но сам докладчик остался сидеть на своем месте в первом ряду: видать, не просто было ему подняться и ковылять на костылях. Я подошел к нему и представился. Он отозвался с каким-то удивительным радушием, усадил меня рядом с собой, и у нас завязался оживленный разговор, словно мы были добрыми знакомыми много лет. Я иронично отозвался о реплике Миленушкина. В выразительных глазах Василия Лаврентьевича, забегали веселые искорки. Громко, на весь еще не совсем опустевший зал, он сказал:

– Юрий?! Да он же сталинист!

3.

В нашей переписке с Василием Лаврентьевичем Ю. И. Миленушкин упоминается многократно. Они были знакомы аж с 1926 года: вместе учились в ЛГУ. Как сообщал мне Василий Лаврентьевич, Миленушкин еще студентом начал печататься, а в годы войны работал в редакционном бюро научных радиопередач при ВОКС (Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей). Он готовил радиопрограммы о достижениях советской науки, которые шли на зарубежные страны. «Тут он познакомился с большими тузами науки и искусства!», писал мне Меркулов, и эта работа, по его словам, сильно испортила Миленушкина: «окунула [его] в пучину страстей», «связанных с погоней за популярностью»²⁴.

Когда вышла моя книга о Мечникове, я подарил ее Миленушкину. А через некоторое время почта принесла подписанное им письмо на официальном бланке Общества историков медицины, в котором он возглавлял секцию микробиологии. В письме сообщалось, что очередное заседание секции посвящается обсуждению моей книги.

Как это было понять?

²³ Там же, стр. 5.

²⁴ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

Публичное обсуждение книги – для автора всегда событие. Тем более в обществе знатоков, за плечами каждого много печатных работ, защищенных диссертаций, научных докладов в той самой области, в которую я дерзнул вторгнуться. Они могут дать книге зеленый свет, а могут вынести смертный приговор. Что день грядущий мне готовит? Уж не собирается ли Юрий Иванович учинить экзекуцию?!

Специалисты всегда ревниво относятся к вторжениям со стороны, а в данном случае повод для недовольства был особенно ясным, можно сказать, вызывающим. В центре моего повествования не научные заслуги Мечникова в микробиологии (хотя, по моему мнению, о них рассказано достаточно подробно), а его философские, мировоззренческие искания. Сюжет выстроен не по шаблону: родился, учился, женился, защитился – он концентрируется вокруг одного дня жизни Мечникова, 30 мая 1909 года, когда он приехал в Ясную Поляну, к Льву Николаевичу Толстому, носителю противоположного мировоззрения. Столкновение двух противостоящих философий – таков был стержень повествования. Я полагал, что это могло сильно не понравиться спецам по истории микробиологии.

Я позвонил Миленушкину, чтобы прощупать ситуацию, но вместо долгого разговора по телефону он пригласил меня к себе домой. А когда я приехал, он... вылил на меня ушат похвал, так что я потом долго не мог опомниться. На обсуждении книги он председательствовал, выступил первым и – повел аудиторию за собой. Раздавались и недовольные голоса: почему так много о встрече с Толстым, не за это Мечникову присудили Нобелевскую премию! Но не такие голоса превалировали.

Свое выступление Миленушкин затем превратил в обстоятельную рецензию и опубликовал ее в журнале «Природа» (задолго до того, как я стал в нем работать). В рецензии было несколько дельных замечаний, причем легко устранимых, так что за излишнюю опасливость я был наказан: показал бы ему рукопись заранее, неточности были бы исправлены. Но общая оценка была такова, что мне и сейчас неловко ее цитировать. Моя книга противопоставлялась всей предшествовавшей литературе о Мечникове как «новое и интересное явление». Особо подчеркивались ее преимущества перед классическим международным бестселлером «Охотники за микробами» Поля де Крайфа (де Крюи)²⁵. Лучшего отзыва просто не могло быть!

У меня сохранился оттиск этой рецензии с дарственной надписью Юрия Ивановича:

«Семену Ефимовичу с чувством глубокой симпатии, уважения и с самыми горячими пожеланиями грядущих успехов, а также на память о том заседании об[щест]ва, где обсуждалась книга. 17–4–75 (Подпись)».

После этого я не раз бывал в небольшой квадратной комнатке Миленушкина, затянутой сизым табачным дымом. Он почти непрерывно курил, причем не сигареты с фильтром, как было принято, а, по-старомодному, папиросы «Беломор».

Среди прочего, он показал мне оригинальную фотографию на стекле (позитив) – выступление Мечникова в Институте экспериментальной медицины, 1909 год. Это был подарок В. Л. Меркулова.

Отношения дружбы-вражды у них были давние. Меркулов вспоминал с долей ядовитого сарказма, что еще в 1965 году, когда он посетил Миленушкина, у них был «жестокий спор», в котором его, Меркулова, поддерживала 16-летняя дочь Миленушкина Таня, оказавшаяся «более политически зрелой», чем ее отец.

«В Риге летом 1969 г. – мы пару дней были с Юрием вместе – он проявил такие «комические» суждения, что я был изумлен его упорной склонностью оправдывать злодеяния неко-

²⁵ Ю. И. Миленушкин. Свежее слово о Мечникове. «Природа», 1974, № 8, стр. 122–124.

его грузина [Сталина] соображениями: «не знал и не ведал»», – писал мне Меркулов в том же письме²⁶.

Страстный охотник, Миленушкин был очень активен в обществе охотников, публиковал обзорные статьи, очерки, рассказы, рецензии в сборниках «Охотничьи просторы» и других подобных изданиях. Его «другом по охоте» был президент академии Медицинских наук В. Д. Тимаков, микробиолог. Юрий Иванович считал, что имеет влиятельного покровителя, и чувствовал себя уверенно, но когда директор института имени Гамалеи О. В. Бароян решил выгнать его на пенсию, Тимаков пальцем не пошевелил. Сбылось пророчество В. Л. Меркулова:

«Когда в Л[енингра]де отмечалось 100 лет со дня рождения Д. К. Заболотного²⁷, я, как один из докладчиков (Д. К. в ИЭМ), попал в президиум и познакомился с Тимаковым и Барояном. И тогда же я предсказал Юрию – *тебе скоро труба. Твой Володя – черствый дипломат, за тебя он не захочет хлопотать, и защиты от него не жди! <...>* И потом, когда его выжил Бароян на пенсию, он стал умнее»²⁸.

Последний раз они виделись в октябре 1975 года, когда Василий Лаврентьевич остановился на несколько дней в Москве, возвращаясь из Тбилиси со съезда историков науки.

«О многом мы вспоминали и говорили, – писал мне Меркулов. – Он давно имел язву кишки и желудка + много курил + его страшно деморализовало: 1) выход на пенсию, 2) разочаровался в «друге по охоте» лауреате Лен[инской] премии, президенте АМН и академике «Володе Тимакове» и 3) что музей И. И. Мечникова, собиранию коего он отдал почти 30 лет работы, по приказу Барояна передан в Ригу в Музей ист[ори] медицины!»²⁹.

С близкими Миленушкина я знаком не был и о его кончине (2 января 1976 г.) узнал с опозданием, из Ленинграда, от Меркулова.

На его подробное письмо я отвечал:

«Все, что Вы пишете о Юрии Ивановиче, мне очень интересно. Я знал его только в последние годы и был очень тронут его добрым отношением ко мне и к моей книге о Мечникове. Он казался мне очень добрым и несколько наивным человеком, чрезвычайно простым и открытым (этаким пожилым ребенком). Но оказывается, это не совсем так. Например, на мои вопросы о здоровье он неизменно отвечал, что все хорошо. Я даже не знал, что у него язва. О его переживаниях, связанных с уходом со службы, я тоже узнавал стороной, сам он мне об этом ни разу не говорил»³⁰.

Таким оказался этот необычный сталинист, вставший горой на защиту *единственно правильного учения* об академике Павлове – великом продолжателе своего, отечественного, Сеченова, а не какого-то подозрительного «космополита» Клода Бернара!

4.

Заново знакомясь с докладом Меркулова по печатному варианту, я вижу, что вторая его половина была посвящена «мотивации» научной деятельности А. А. Ухтомского. Ухтомский как раз *был* продолжателем Сеченова. Он принадлежал к школе Н. Е. Введенского, наиболее одаренного ученика Сеченова в Петербургском университете. Введенский унаследовал кафедру физиологии от Сеченова, Ухтомский – от Введенского: преемственная связь очевидна. Но, вероятно, именно поэтому не она занимала Меркулова. В его докладе говорится о влиянии на Ухтомского крупнейших философов – от Платона и Аристотеля до Шопенгауэра

²⁶ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

²⁷ Даниил Кириллович Заболотный (1866–1929), выдающийся бактериолог и эпидемиолог.

²⁸ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

²⁹ Там же.

³⁰ Архив автора. Копия моего письма В. Л. Меркулову от 31 января 1976 г.

и Гегеля, и особенно – произведений Ф. М. Достоевского. Для меня, только что познакомившегося с письмами А. А. Ухтомского к Е. И. Бронштейн-Шур, это было наиболее интересно, но разговор наш до второй половины его доклада не дошел, – во всяком случае, в моей памяти ничего на этот счет не сохранилось. Перерыв кончился, мы обменялись адресами и, пока люди рассаживались, я поспешил уйти: на вторую половину заседания я не мог остаться.

Глава пятая. Любви все возрасты покорны

1.

Лена Бронштейн была не единственной и не первой любовью Алексея Алексеевича Ухтомского. За двадцать лет до встречи с нею он, тогда еще студент университета, был приглашен в многочисленное семейство Платоновых, жившее на углу 13-й линии Васильевского острова и Большого проспекта.

Был конец октября 1905 года. Всего несколько дней назад был обнародован царский манифест: народу даровались основные гражданские свободы. Революционная стихия пошла на спад, но в городе еще было беспокойно. На улицах и площадях вспыхивали митинги, демонстрации, шныряли усиленные наряды полиции, хлопали выстрелы. Ухтомского предупредили, что дверь с улицы будет заперта, ему следует пройти через двор в кухню, но постараться не попасть на глаза дворнику, который берет на заметку всех «студентов в синих околышках».

Ухтомский только что вернулся из путешествия по Волге и Уралу: ездил в качестве представителя питерской старообрядческой общины. У старообрядцев были давние счеты с властью и с официальной церковью, им требовалось скоординировать свои действия. Ухтомский встречался с «подозрительными» людьми и сам попал под подозрение, несколько раз ускользал от ареста³¹. Учитывая накопленный опыт конспирации, он пришел к Платоновым в желтой верблюжьей куртке и черном картузе, какие носили приказчики.

Отец семейства недавно умер, мать с одной из дочерей еще не вернулась с Кавказа, куда выезжала на лето; в доме главенствовал их единственный сын Юрий Александрович, студент горного института. Он стал горячо говорить о революционных событиях, о царском манифесте и о том, что на этом нельзя успокаиваться. Надо требовать твердых гарантий, что обещанные преобразования будут осуществлены. На слово властей полагаться не следует, совести у них нет. Так считает не только он сам и другие студенты Горного института, но и профессора, такие как математик И. П. Долбня, которого студенты особенно любят и почитают.

Ивана Петровича Долбню Ухтомский хорошо знал: когда он был курсантом Кадетского корпуса в Нижнем Новгороде, математику преподавал И. П. Долбня. Для Алексея он стал Учителем с большой буквы. Юноша поверял Ивану Петровичу свои сомнения, переживания, делился планами и всегда встречал в нем участие. Он потому и избрал Петербургский университет, что в Питере жил Долбня. Их контакты возобновились и стали почти такими же тесными, как когда-то в Нижнем Новгороде. Он многое мог рассказать об этом умном и чутком наставнике своим новым знакомым.

Они сидели за чайным столом, под большой картиной, изображавшей сцену прощания Наполеона с ветеранами-гренадерами. Ухтомский запомнил, что на другой стене тоже висела картина на сюжет наполеоновских войн: солдат в траншее извлекает из подсумка убитого товарища оставшиеся патроны, тогда как вдали уже видны цепи наступающего врага. Картина называлась «Последний патрон».

Беседа была оживленной, в нее включились сестры Юрия Александровича – Женя, Клаша, Машенька. Одна лишь Варенька молчала, внимательно слушала, но чувствовала себя скованно; когда гость поворачивался к ней, вспыхивала и отводила глаза.

Он зачастил в дом Платоновых, и вскоре все заметили, что между ним и Варенькой возникли особые отношения.

³¹ В архиве Ухтомского сохранились краткие записи, дающие представление об этой длительной поездке. <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=2>.

Варенька служила в бухгалтерии правления Рязанско-Уральской железной дороги, но душа ее витала далеко от приходно-расходных книг. Она увлекалась поэзией, философией, была набожна, отзывчива на чужое горе. И при всем том чувствовала себя одинокой, не такой как все. Ее *особость* тотчас почувствовал Ухтомский – и потянулся к ней.

Человек деятельный и активный, он общался со многими людьми самых разных слоев общества – от царского дворца до крестьян и мастеровых из заволжской глуши, где вырос. От прихожан своей старообрядческой (единоверческой³²) церкви до товарищей по университету. С бывшими однокашниками по кадетскому корпусу и духовной академии. Но близости ни с кем не возникало, он оставался *ото всех отдельно*, и это его мучило. Тут в его жизни и появилась Варенька.

Были ли у 30-летнего Ухтомского романы или хотя бы мимолетные увлечения до встречи с ней? Похоже, что были, но о них ничего неизвестно, если не считать нескольких не вполне ясных дневниковых записей. Так, в декабре 1896 года, между философско-религиозными размышлениями, вдруг возникает П. Ф., Пелагея Федоровна – «редкая девушка», пробудившая в нем «так много жизни, так много жажды жизни»³³. Впервые она появляется в дневнике 4 декабря. А последняя запись, похожая на прощальную, сделана уже 22 декабря, всего через 18 дней:

«Пелагея Федоровна – редкая девушка <...> Я не встречал такого сочетания детской простоты и доверчивости с несомненно мужественным сердцем; я, наконец, не встречал сочетания всего этого с любовью ко мне. Это потеря жизни... Господи, дай ей счастья, да вспомнит она меня добрым словом в минуты своего счастья!»³⁴.

Вспоминала ли потом о нем Пелагея Федоровна, неизвестно, но он о ней, похоже, забыл навсегда.

Двумя годами позже в дневниках начинает мелькать Настенька и ее мать, обозначенная только инициалами: А. Л. Не без труда можно догадаться, что их фамилия Половцевы, возможно, родственницы известного государственного деятеля А. А. Половцева.

1 августа 1899 года Ухтомский делает запись, из которой явствует, что он влюблен в Настеньку, а еще через три дня констатирует: «Божья жизнь стала для меня невыносимой без Насти»³⁵.

Но мать хотела не *Божьей жизни* для своей дочери, а простого земного счастья. Торопя события, она пыталась воздействовать на него через его близких. Так, во всяком случае, я понимаю следующую дневниковую запись:

«А. Л., у Вас все есть и всего много; а у меня Вы хотите отнять последнее, что есть у меня, «единственную мою овцу» – нравственную и физическую свободу, которая создавалась для меня с таким трудом и так *дорого*. И для этого Вы вооружаетесь на меня всеми моими врагами, всеми врагами моей жизни и нравственной свободы, – кончая моими рыбинскими родными»³⁶.

Имя Насти в дневнике больше не появляется...

Не то было с Варенькой Платоновой, вошедшей в его жизнь прочно и навсегда. Уже через месяц после знакомства, побывав очередной раз у Платоновых, он записал:

³² Единоверие – ветвь старообрядчества, которая пошла на примирение с официальной церковью на условиях сохранения древних богослужебных чинов, что и было узаконено при императоре Павле I по инициативе московского митрополита Платона (Левшина). По свидетельству А. А. Золотарева, переход Ухтомского в единоверие был совершен под «плодотворным и животворным воздействием» учебы в Духовной Академии, но об этом ниже.

³³ А. А. Ухтомский. Лицо другого человека, СПб., изд-во Ивана Лимбаха, 2008, стр. 74.

³⁴ Там же, стр. 77.

³⁵ Там же, стр. 106. Дневниковая запись от 4 августа 1899 г.

³⁶ Там же, стр. 148. Дневниковая запись от 23 мая 1900 г.

«Варвары Александровны не было, не было ее; и уже шевельнулась злая змея в душе против религии жизни. <...> А Варвара Александровна свет и правда, ясность и благо! Дай ей Бог всего этого, ибо без того тяжело будет ей в грядущей обыденщине, которой, кажется, все равно не минуешь»³⁷.

Они становились все ближе, все нужнее друг другу, вместе им легче было противостоять ненавистной *обыденщине*. Их отношения почти неизбежно вели к естественной кульминации: «Я всегда был против женитьбы, ибо чувствовал, что не могу этого сделать свободно. Могу сказать, что относительно В. А. я впервые почувствовал, что могу жениться на ней вполне свободно, *даже во имя моей свободы*»³⁸.

С каждой встречей у них обнаруживалось все больше общего: глубокая религиозность, трепетная любовь к старине, к народным преданиям, к красоте церковного богослужения, готовность прийти на помощь каждому страждущему и обездоленному.

Варенька по воскресеньям посещала ближайшую к дому церковь Морского корпуса, но в ней царили формализм и *обыденщина*; казалось, что люди приходят только чтобы отбыть номер. Ухтомский привел ее в свою Никольскую единоверческую церковь на Николаевской улице, вблизи Невского проспекта. Прихожане здесь были душевнее, ближе друг другу, чувствовалось, что совместные молитвы очищают их от мирской скверны, возносят к горним высям. Под влиянием Алексея Варенька стала приобщаться к исконному, не испорченному, как они оба верили, православию, традиции коего восходили к допетровской и дониконовской Руси.

³⁷ Там же, стр. 165. Дневниковая запись от 27 ноября 1905 г.

³⁸ Там же, стр. 167. Дневниковая запись от 30 декабря 1905 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.